

РОМАН, ВОШЕДШИЙ В ШОРТ-ЛИСТ  
БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2008 ГОДА



Себастьян Барри

*Скрижали*  
*судьбы* [roman]

CORPUS

История страны,  
История семьи,  
История любви

# Себастьян Барри Скрижали судьбы

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=5741760](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5741760)  
Скрижали судьбы: АСТ: CORPUS; Москва; 2013  
ISBN 978-5-17-077810-2*

## **Аннотация**

Роман Себастьяна Барри «Скрижали судьбы» – это два дневника, врача психиатрической лечебницы и его престарелой пациентки, уже несколько десятков лет обитающей в доме скорби, но сохранившей ясность ума и отменную память. Перед нами истории двух людей, их любви и боли, радостей и страданий, мук совести и нравственных поисков. Судьба переплела их жизни, и читателю предстоит выяснить, насколько запутанным оказался этот узел.

## Содержание

Часть первая	4
Глава первая	4
Глава вторая	11
Глава третья	16
Глава четвертая	20
Глава пятая	28
Глава шестая	38
Глава седьмая	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Себастьян Барри

## Скрижали судьбы

*Посвящается Маргарет Синг*

*Наш внутренний взор есть наше величайшее несовершенство,  
поскольку мы видим лишь тень себя.  
Сэр Томас Браун, Христианская мораль*

*Сколь немногим историкам или читателям исторических трудов  
удается извлечь хотя бы малую пользу из своих усилий!.. Помимо того,  
самые достоверные свидетельства древней и современной истории  
подчас таят в себе так много недосказанного, что любовь к истине,  
которая во многих умах незыблемо укреплена от природы, неизбежно  
приводит к любви к тайным мемуарам и семейным преданиям.  
Мария Эджворт, из предисловия к роману «Замок Ракрэнт»*

## Часть первая

### Глава первая

#### Свидетельство Розанны, записанное ей самой

**(пациентка областной психиатрической лечебницы  
Роскоммона, с 1957 г. по настоящее время)**

Мой отец говорил, что мир начинается заново с каждым рождением. Но забывал добавлять, что с каждой смертью – заканчивается. Или не считал нужным договаривать. Потому что добрую часть жизни проработал на кладбище.

\* \* \*

Родилась я в холодном маленьком городе. Даже горы от него отодвигались. Доверия у гор к этому темному местечку было не более моего.

Через весь город текла черная река, не проявляя к людям никакой милости и снисходя только до лебедей – и лебедей там плавало много, а во время разлива они вертелись вместе с потоком, будто нырки какие.

Еще река несла в море всякий мусор, и некогда чьи-то вещи, ухваченные с берегов, и трупы тоже, хоть и редко – да и случалось, бедных младенцев, чужой позор. Глубина реки и ее течение умели принять любую тайну.

Это я про город Слайго.

Слайго меня создал, Слайго меня и разрушил, но мне следовало бы гораздо раньше бросить все эти мысли про то, как меня создавали и разрушали человеческие города, и искать ответов только в себе самой. Весь страх и боль в моей жизни приключились потому, что в

молодости я думала, будто другие люди – творцы моего счастья или несчастья. Я не знала тогда, что человек может выстроить целую стену из воображаемых кирпичей против всех тех ужасов и жестоких мрачных испытаний, которые обрушивает на нас время, – и стать, таким образом, творцом самому себе.

Теперь меня там нет, теперь я в Роскоммоне. Дом этот старый, раньше был чей-то особняк, но стены выбелены, везде железные кровати и засовы на дверях. Всё тут – владения доктора Грена. Доктора Грена я не понимаю, но я не боюсь его. Не знаю, какого он вероисповедания, но выглядит он точь-в-точь как святой Фома – с этой своей бородой и лысой макушкой.

Я совсем одна, за этими стенами никто меня и не знает, вся моя родня – пара жалких медяков, что у меня когда-то были, да моя птичка-мать, – все они уже умерли. Умерли, наверное, уже и все мои преследователи, потому что я теперь старая, очень старая женщина, мне, может быть, уже сотня лет, хотя я и не знаю точно, да и никто не знает.

Я всего лишь жалкий остаток, огрызок женщины, я даже и на человека-то не похожа больше: так, кости, кое-как обтянутые ветхой кожей, одетые в выцветшую юбку и кофту да в полотняную куртку, сижу тут в своем гнезде, как онемевшая малиновка – нет, скорее, как мышь, что сдохла за камином, в тепле, и лежит там теперь, как мумия в пирамиде.

Никто и не знает, что у меня есть своя история. Через год, через неделю или даже завтра я уж точно умру, и мне закажут маленький гроб да выроют узкую ямку. Камня в изголовье и того не поставят, да и неважно.

Так и все люди, наверное, маленькие и узкие.

Тишина кругом. Почерк у меня еще твердый, и еще есть замечательная ручка, полная синих чернил, которую мне дал мой друг доктор, потому что я сказала, что мне цвет нравится – он в самом деле неплохой человек, доктор, быть может, даже философ, – и тут у меня пачка бумаги, которая отыскалась в шкафу среди прочих ненужных вещей, а вот расштанная половица, где я прячу все эти сокровища. Я записываю свою жизнь на ненужной бумаге, которой у меня с избытком.

Я начинаю с чистого листа – со множества чистых листов. Теперь мне так страстно хочется оставить что-то вроде отчета, отверстой и откровенной истории самой себя, и если Господь даст мне сил, я расскажу всю эту историю и запру ее под половицами, чтобы затем почти с радостью улечься вместе с остальными моими покойниками под роскоммонским дерном.

\* \* \*

Мой отец был самым чистым человеком во всем христианском мире, во всем Слайго уж точно. Мне все казалось, что он так туго затянут в свою форму – никакой расхлябанности, весь ровный, как записи в конторской книге. Он был зрителем на кладбище, и для работы ему полагалась невероятной красоты форма, или уж такой она мне виделась в детстве.

Во дворе у нас стояла бочка, в которую собиралась дождевая вода, и там он мылся – каждый божий день. Велит нам с матерью отвернуться к стене, встанет посреди заросшего мохом и лишайниками двора, не боясь, что его кто-то увидит, разделенется догола и давай безжалостно поливать себя из бочки, в любую погоду, даже в самую зиму, и только всхрапывает, как бык.

Карболовое мыло, которым отмывали засаленный пол, он взбалтывал в целый костюм из пены, который сидел на нем как влитой, пока он тер себя куском серого камня: его он, помывшись, засовывал в специальную дыру в стене, откуда тот торчал, будто чей-то нос. Все это я видела вспысками, урывками, пока быстро вертела головой, потому что тут я становилась плохой дочерью и не могла слушаться.

Никакие цирковые трюки не могли развлечь меня больше этого.

Мой отец был певцом, которого не заставишь умолкнуть, он пел все песенки из тогдашних опереток. И еще он любил читать проповеди давно умерших священников, потому что, как он говорил, может представить то давно прошедшее воскресенье, когда эта проповедь была еще новехонькой, а слова только вылетели у проповедника изо рта.

Его отец был проповедником. Мой отец был страстным, я бы даже сказала духовнейшим пресвитерианцем – не самая популярная черта характера в Слайго.

Превыше всего он ценил проповеди Джона Донна, однако истинным его евангелием была *Religio Medici* сэра Томаса Брауна<sup>1</sup>, книга, которая осталась со мной после всей кутерьмы и неразберихи в моей жизни, маленький истрепанный томик. Вот она лежит передо мной на кровати, внутри написаны его имя – Джо Клир, дата – 1888 год, город – Саутгемптон, потому что в ранней юности он был моряком и еще до того, как ему исполнилось семнадцать, успел побывать в каждом порту христианского мира.

В Саутгемптоне произошло одно из самых великих или грандиозных событий в его жизни – он повстречал мою мать, Сисси, которая работала горничной в постоялом доме для моряков, где он любил останавливаться.

Отец любил рассказывать одну занятную историю про Саутгемптон, и ребенком я воспринимала ее как святую истину. Впрочем, может, то была и чистая правда.

Как-то зайдя в порт, он обнаружил, что в его привычном постоялом доме мест нет, и поэтому был вынужден идти дальше, по продуваемым насквозь широким улицам, пока не наткнулся на одиноко стоящий дом, где клиентов подлавливала табличка, извещавшая о сдающихся комнатах.

В доме его встретила серолицая женщина средних лет, которая отвела ему койку в подвале. Посреди ночи он проснулся – показалось, что в комнате кто-то дышит. До смерти перепугавшись, он с отчетливой ясностью, которая идет рука об руку с паникой, услышал стон – и в темноте кто-то улегся с ним рядом.

Он зажег свечу из трутницы. Никого. Но отец увидел, что простыни и матрас примяты, будто там лежит грузный человек. Он вскочил с койки, крикнул: эй, но никто не ответил. И тут он почувствовал, как все его нутро свело таким жутким голодом, какого ни один ирландец не испытывал со времен картофельного мора<sup>2</sup>.

Он бросился к двери, но с изумлением обнаружил, что она заперта. Вот теперь он был вне себя от бешенства.

– Выпусти меня! Выпусти! – кричал он, пока в нем бушевали и страх, и ярость. Да как посмела эта старая карга запереть его тут!

Он колошматил и колошматил в дверь, наконец хозяйка спустилась и спокойно отомкнула его. Она извинилась, сказав, что, видимо, невольно повернула ключ в замке, чтобы обезопасить себя от воров. Отец пожаловался на то, что в комнате кто-то был, но женщина лишь улыбнулась, ничего не ответила и ушла к себе.

Ему показалось, что он уловил странный запах, исходивший от нее – запах листвы, подпола и подлеска, как будто бы она продиралась сквозь лесную чащу. Все утихло, он задул свечу и попытался заснуть.

Однако какое-то время спустя все повторилось. Он вновь вскочил, зажег свечу и подошел к двери. Снова заперто! И снова внутри заворочался ужасный голод. Отчего-то он не осмелился вновь позвать хозяйку – вероятно, из-за чрезвычайной ее странности – и провел остаток ночи на стуле, взмокший от пота, скрюченный.

---

<sup>1</sup> Томас Браун (1605–1682) – английский мыслитель и ученый. «Религия врача» (1635) – один из самых его известных трактатов, в котором Браун рассуждает о возможности сближения религии и науки.

<sup>2</sup> Период с 1845 по 1852 год, когда большой неурожаем картофеля наложился на сложную экономико-политическую ситуацию в стране и вызвал массовый голод.

Наутро он проснулся, оделся – дверь была открыта. Отец взял свои сумки и пошел наверх. Только теперь он заметил, что дом в ужасном запустении – ночью это милосердно скрыла темнота. Он не мог дозваться хозяйки и, поскольку его корабль должен был вот-вот отплыть, ушел, так и не повидав ее, бросив пару шиллингов на полочку под зеркалом.

Выйдя на улицу, отец оглянулся и с неприятным чувством заметил, что многие оконные рамы в доме сломаны, а на просевшей крыше недостает черепиц. Тогда он зашел в лавку на углу, чтобы успокоиться и поговорить хоть с какой-то живой душой, и принялся расспрашивать лавочника про дом.

Этот дом, сказал лавочник, вот уже несколько лет как заброшен и никто там не живет. Его бы снести давно, да он стеной примыкает к другому дому. Нет-нет, не мог он там ночевать. Там нет никого, да и кто захочет купить дом, где жена мужа убила – заперла в подвале и уморила голодом. Женщину эту судили и повесили за убийство.

Отец рассказывал матери эту историю с таким воодушевлением, будто переживал все заново. Мрачный дом, серая женщина, стенающий призрак проплывали у него перед глазами.

– Ну, Джо, хорошо, что в твой следующий приезд у нас нашлась свободная комната, – всегда очень ровно произносила моя мать.

– Святая правда, святая правда, – отвечал отец.

Эта крошечная человеческая история, моряцкая история каким-то образом вмещала в себя и яркую красоту моей матери, и всю мощь ее чар, перед которыми мой отец никогда не мог устоять.

Потому что она была красива смуглой, темноволосой испанской красотой и глаза у нее были зелеными, как колумбийские изумруды, а перед такими падет любой мужчина.

Он женился на ней и привез ее с собой в Слайго, где она и жила с тех пор, не будучи родом из этой тьмы, похожая на потерянный шиллинг, что валяется в грязи и отчаянно поблескивает. Никогда еще Слайго не видал большей красавицы: кожа у нее была мягче пера, а грудь теплая и щедрая – восторг и взошедшее тесто.

В детстве самой великой моей радостью было идти с матерью в сумерках по улицам Слайго, потому что она любила выходить навстречу отцу, когда он возвращался с кладбища. И только много лет спустя, когда я сама выросла, вспоминая все это, я поняла, что в этом ее встречном движении таился какой-то трепет, как будто бы она не верила, что обычный ход времени и жизни сам приведет его домой. Потому что, думаю, мать странно тяготилась сиянием своей красоты.

Отец был на кладбище зрителем, как я вам уже говорила, и носил синюю форму и фуражку с козырьком, черным, как перья у дятла.

В те времена шла Первая мировая, и город был полон солдат, как будто бы весь Слайго был полем боя, но, конечно, ничего там не происходило. Мы в основном видели солдат, приходивших в увольнительные. Но все они в этих своих формах походили на моего отца – казалось, что он на улицах повсюду, и пока мы с матерью шли ему навстречу, я выглядывала его так же истоиво, как и она.

Но радость только тогда заполняла меня целиком, когда оказывалось, что он – это он, как и должно, возвращается домой с кладбища темным зимним вечером, несетя вперед легким шагом. И стоило ему заметить меня, как он затевал со мной какую-нибудь игру, будто расшалившийся ребенок. И уж многие на него косились, быть может, потому что такое поведение не очень уж вязалось с должностью зрителя за покойниками Слайго. Но у него была редкая способность всецело отдаваться игре с ребенком и в сумеречном свете быть глупым и веселым.

Он был зрителем могил, но еще он был самим собой и в своей фуражке с козырьком и синей форме мог с надлежащим достоинством проводить любого посетителя к месту, где

покоился его друг или родственник, но оставшись один в своей сторожке, маленькой бетонной часовенке, он прелестно распевал арию «Мне снилось, живу я в гранитном дворце» из «Цыганки», одной из его любимых опер<sup>3</sup>.

В выходные же он гонял по извилистым ирландским дорогам на своем мотоцикле «матчлесс». И если завоевание моей матери стало для него событием поистине королевским, то одни лишь воспоминания о том, что в тот же великий удачный год, незадолго до моего рождения, он на своем чудесном мотоцикле участвовал в короткой гонке на острове Мэн, благополучно добрался до середины поля и не убили, были для него источником бесконечной радости и, я думаю, немало утешали его в бетонной часовенке посреди тягучей и безрадостной ирландской зимы, когда кругом были одни только спящие души.

Другая «известная» история – известная, разумеется, лишь нашему крохотному семейству – приключилась с отцом в его холостой жизни, когда он еще мог выбираться на редкие в те времена мотоциклетные гонки. История эта была странная до чрезвычайности, и случилась она в Талламоре.

Он несся на большой скорости, впереди был пологий склон, который оканчивался резким поворотом у разделительной стены – высокого, плотного каменного забора, построенного во время Великого голода, когда рабочим, казалось, придумывали бесполезные занятия, чтобы они не поумирали с голоду. Но, как бы там ни было, а ехавший впереди него гонщик, летя вниз с холма на невероятной скорости, вместо того чтобы дать по тормозам, будто бы даже прибавил газу перед стеной и, в конце концов, как ядро из пушки – с грохотом, скрежетом и дымом – безжалостно в нее впечатался. Отец, пытаясь разглядеть хоть что-то через перепачканные очки, чуть было сам не выпустил руль – настолько перепугался, но затем увидел то, что никогда не мог и не смог бы объяснить: гонщик воспарил, будто бы на крыльях, и одним быстрым, но плавным движением перелетел через стену, скользнув по воздуху, словно чайка, которую несет попутным ветром. На мгновение отцу и впрямь почудился шелест крыльев, и, всякий раз после этого встречая в молитвеннике упоминания об ангелах, он вспоминал об этом удивительном мгновении.

Прошу вас, не думайте, будто мой отец привирал, потому что на это он был не способен. Верно, что во многих деревнях – и даже городах – люди вам расскажут, что видели уж такие чудеса, да взять хотя бы моего мужа Тома с его историей про двухголовую собаку, что повстречалась ему на пути в Инишкрон. Верно и то, что истории эти производят впечатление, только если рассказчик прикидывается, будто сам в них истово верит – или впрямь видел что-то подобное. Но отец мой никогда не был мастером рассказывать сказки.

Когда отцу удалось замедлить ход и затормозить, он побежал вдоль забора, пока не наткнулся на калитку и, толкнув ржавые ворота, принялся продираться сквозь заросли крапивы и конского щавеля в поисках своего волшебного спутника. Там тот и лежал, с другой стороны забора, совсем без сознания, но, как клялся мой отец, целый и невредимый. Наконец мужчина – оказалось, что это индийский джентльмен, торговавший шарфами и прочими штуками, которыми был доверху набит его чемодан, по всему западному побережью, – пришел в себя и улыбнулся отцу. Оба они подивились его невероятному спасению, и история эта, что вполне понятно, ходила по всему Талламуру еще много лет. Если и вы ее когда-нибудь слышали, то рассказчик, верно, мог назвать ее историей про «индийского ангела».

И вновь становилось заметно, как до странного счастлив был мой отец, пересказывая все это. Казалось, подобные события были ему наградой за саму его жизнь, небольшой дар повествования, который приносил ему столько радости, что наделял его – и во сне, и наяву – некоторым ощущением своей особенности, будто бы эти маленькие клочки историй и событий складывались для него в своего рода лоскутное евангелие. И если бы и впрямь о жизни

---

<sup>3</sup> «Цыганка» (1843) – опера композитора Майкла Уильяма Бальфе.

моего отца вдруг написали евангелие – а почему бы, впрочем, и нет, ведь говорят же, что каждая жизнь ценна Господу, – то думаю, в этом новом исполнении с чужого голоса, крылья, которые он лишь мимолетом углядел на спине своего индийского друга, стали бы куда заметнее, а все намеки превратились бы в утверждения – недоказуемые, но вознесенные до уровня чуда, чтобы всякий мог найти в них утешение.

Счастье моего отца. Уже само по себе оно было бесценным даром, как вечная тревога матери – ее вечным бременем. Потому что моя мать никогда не слагала легенд из своей жизни и жила, что примечательно, без единой истории, хотя я уверена, что заговори она – и ее рассказы были бы не хуже отцовских.

Странно, вот что мне пришло в голову: человек, который не пестует свои рассказы, пока живет, чтобы они потом пережили его, скорее всего, будет потерян не только для всей истории, но и для семьи, которой он мог бы их передать. Разумеется, такова участь большинства, когда целые жизни – пусть даже самые яркие и примечательные – съеживаются до угрюмых почерневших надписей на засохшем фамильном древе: рядом болтаются половинка даты да вопросительный знак.

Счастье моего отца не только спасало его, но вновь и вновь приводило его к этим рассказам, и даже сейчас благодаря этому он живет во мне, словно внутри моей несчастной души есть вторая – более терпеливая, более радостная.

Быть может, счастье моего отца было до странного беспричинным. Но разве не может человек быть счастлив как ему угодно, пока бредет по этой долгой и непонятной жизни? В конце концов мир ведь и вправду прекрасен, и пояись мы в нем не людьми, а другими тварями, то могли бы быть бесконечно счастливы.

И без того тесную гостиную в нашем маленьком домике мы делили с двумя большими предметами – одним из них был уже упомянутый мотоцикл, который нужно было укрывать от дождя. Можно сказать, он вел тут тихую и размеренную жизнь, и отец мог время от времени лениво пробежать по его хромю бархоткой, не вставая с кресла.

Вторым было узенькое пианино, которое досталось отцу в благодарность от одного вдовца – отец не взял с него денег за рытье могилы для жены, поскольку та семья еле сводила концы с концами. И потому летним вечером, вскоре после похорон, ослик и тележка привезли к нам пианино, и вдовец с двумя сыновьями – с улыбками, в счастливом смущении – внесли его в крохотную комнатку. Вряд ли это пианино стоило больших денег, но звучало оно изумительно чисто, и судя по девственной белизне клавиш, до того на нем никогда не играли.

Его боковые панели были разрисованы пейзажами – не Слайго, конечно, а скорее видами некоторой воображаемой Италии, но с тем же успехом это мог быть и Слайго: реки, горы да пастухи с пастушками подле своих покорных овец.

Отец, выросший при церкви, мог играть на этом чудесном инструменте и, как я уже говорила, был без ума от популярных оперетт прошлого века. Бальфе<sup>4</sup> он почитал гением.

На табурете нам двоим как раз хватало места, и вскоре я – в силу своей любви к отцу и великого восторга перед его умением – начала подхватывать основы игры и постепенно и впрямь неплохо выучилась, и учеба эта никогда не обременяла меня, не была мне в тягость.

И вот я уже могла подыгрывать отцу, а он становился посреди комнаты, небрежно опершись одной рукой на сиденье мотоцикла, а вторую засунув за борт пиджака – ну точь-в-точь ирландский Наполеон, – и принимался исполнять практически безупречно, ну или как мне тогда казалось, «Гранитный дворец» или другие жемчужины своего репертуара и, кстати, раз уж на то пошло, то и песенки, что зовут неаполитанскими, которые, конечно, были названы

---

<sup>4</sup> Майкл Уильям Бальфе (1808–1870) – ирландский композитор, сочинитель популярных опер и оперетт.

так не в честь Наполеона, как думала я, а потому что они родились на улицах Неаполя – песенки, сосланные в ссылку в Слайго!

Голос его проливался в меня, как мед, и кружился в моей голове, вибрируя, заполняя ее целиком, прогоняя все детские страхи. Его голос взлетал вверх, и весь он будто бы поднимался вместе с ним – руки, бакенбарды, нога, которой он покачивал над ковром с нарисованными на нем собаками, и взгляд его переполнялся странным весельем. Сам Наполеон, думаю, признал бы, что он – человек возвышенный. В такие минуты, во время исполнения более тихих пассажей, тембр его голоса звучал настолько прекрасно, что ничего лучше я не слышала и по сей день.

В дни моей молодости в Слайго перебивало много хороших певцов: они выступали на открытых сценах под дождем, а кое-каким исполнителям более популярных мелодий я даже подыгрывала на пианино, вытесывая ноты и аккорды, что для них, наверное, было скорее помехой, чем подспорьем. Но по мне, так никто из них не мог передать ту странную интимность, которая звучала в голосе моего отца.

А человек, умеющий веселиться перед лицом надвигающихся невзгод, невзгод, которые выпадают многим из нас – без снисхождений и поблажек, – и есть истинный герой.

## Глава вторая

### Записи доктора Грена

#### *(старший психиатр областной психиатрической лечебницы Роскоммона)*

Здание в ужасном состоянии, хотя насколько все ужасно, мы узнали только после того, как получили отчет инспектора. Трое храбрецов, вскарабкавшихся на древнюю крышу, сообщают, что опорные балки вот-вот рухнут, как будто бы сама макушка нашего заведения стала походить на головы несчастных заключенных, что живут под ней. Хотя заключенных мне следует называть «пациентами». Но раз уж это здание было построено в конце XVIII века в качестве благотворительного заведения «для целительного приюта и надлежащего исправления скорбных вместилищ мыслей», то слово «заключенный» как-то само приходит на ум. Теперь, правда, остается только догадываться, насколько тут все было целительным и насколько надлежащим. Вообще-то в середине XIX века в истории таких приютов произошел большой прорыв благодаря революционным идеям некоторых докторов: смирительные рубашки применяли с умом, а хорошее питание, физические нагрузки и упражнения для умственного развития полагали залогом успеха. Что, собственно, стало рывком вперед по сравнению с порядками, царившими в Бедламе, где воющих и рычащих существ приковывали цепями к полу. Потом, правда, все снова пришло в упадок, и ни одна чувствительная душа не возьмется описать все, что творилось в ирландских лечебницах в первую половину прошлого века – клиторидектомия, погружение в ледяную воду, инъекции. Прошлый век был «моим» веком, поскольку на исходе его мне исполнилось пятьдесят пять, а в этом возрасте трудно всем сердцем и помыслами обратиться к веку новому. Или мне так казалось. До сих пор кажется. Увы, теперь мне почти шестьдесят пять.

Раз уж здание так отчетливо принялось стареть, придется нам его покинуть. В местном отделе здравоохранения говорят, что новое здание откроется тотчас же – может, это и правда, а может, просто пустая болтовня.

Но что делать до тех пор, пока мы точно не будем уверены, что нам дадут новое здание, и как, если уже задаваться более философскими вопросами, мы сможем выдернуть отсюда пациентов, чья ДНК, вероятно, давно въелась в стены этого помещения? Эти вот пятьдесят доисторических женщин в центральном корпусе – они такие старые, что сам их возраст стал чем-то вечным, непрерывным, – так давно не встают с постелей, так обросли пролежнями, что куда-то их перевозить – уже само по себе насилие.

Наверное, я никак не могу смириться с мыслью, что придется переезжать, – вполне разумно, если учесть, что вопрос пока на стадии обсуждения. Как-нибудь справимся, конечно, и с неразберихой, и с потрясениями.

Сестры и санитары, впрочем, тут тоже давно стали частью здания, как летучие мыши на чердаке и крысы в подвалах. Этим-то имя, как я понимаю, легион, хотя, слава богу, крыс я видел только один раз, когда горело восточное крыло – по нижним этажам носились маленькие темные тени, которые выскакивали и неслись за изгородь, на кукурузные поля. Когда они убегали, свет пожара окрашивал их шкурки в причудливый рыжеватый оттенок. Уверен, они слышали, как пожарные дали отбой, и потом – под покровом новой тьмы – прошмыгнули обратно.

Итак, переехать когда-нибудь все-таки придется. По новому законодательству я обязан определить, кого из пациентов можно вернуть в общество (что бы это, черт подери, ни значило) и к каким категориям отнести всех прочих пациентов. Многих из них, конечно, поразит даже новая обстановка – свежая штукатурка, хорошая звукоизоляция и центральное отопление. Уверен, им будет не хватать даже стенаний ветра, слышных даже в безветренные дни (кстати, как это возможно? наверное, из-за вакуума, который возникает на границах холодных и прогретых частей здания), – как легчайшего аккомпанемента их снов и «припадков». Несчастные стариканы в черных костюмах, которые больничный портной скроил давным-давно, они не столько сумасшедшие, сколько дряхлые и бездомные, живут себе в западном крыле – самой старой части здания, – будто ветераны позабытых войн, которые не будут знать, куда приткнуться, покинув эту роскошную глушь.

Однако все это вынуждает меня взяться за дело, которое я чересчур долго откладывал: установить обстоятельства, что привели к нам некоторых пациентов, и понять, не очутились ли они здесь – а такие трагические случаи, увы, известны – по социальным, а не по медицинским показаниям. Уже не такой я дурак, чтобы думать, что все местные «безумцы» и впрямь безумны, или страдали безумием, или обезумели до того, как попали сюда и подхватили сумасшествие как своего рода заразу. Всезнающая общественность – или, скорее, общественное мнение, отраженное в газетах, – не особенно вдаваясь в подробности, полагает, что такие люди заслужили «свободу» и «жизнь на воле». Быть может, оно и верно, только создания, которые так долго сидели взаперти, могут счесть свободу и вольную жизнь довольно затруднительными приобретениями, как все эти страны Восточной Европы после падения социалистической системы. Да и я тоже ощущаю в себе странное нежелание отпустить кого-либо из них. Что это? Стрдания сторожа в зоопарке? Освоятся ли мои полярные мишки на Северном полюсе? Такие мысли мне, конечно, чести не делают. Ну, проживем – увидим.

В частности, мне придется заняться моим старым другом миссис Макналти, которая не только старше всех в клинике, но и во всем Роскоммоне, а может статься, что и во всей Ирландии. Она уже была старой тридцать лет назад, когда я приехал сюда, хотя в то время энергии в ней было – ну, не знаю, – как в природной стихии. Личность она примечательная, и, несмотря на то что зачастую я вижу с ней лишь мимоходом, а то подолгу и вовсе к ней не заглядываю, я всегда помню о ней и стараюсь о ней справляться. Признаюсь, для меня она своеобразная точка опоры. Она здесь с незапамятных времен и для меня олицетворяет не только наше заведение, но и каким-то удивительным образом мою историю, всю мою жизнь. Как там у Шекспира: «звезда, которою моряк определяет место в океане»<sup>5</sup>. Которой я определял наши с бедняжкой Бет семейные сложности, мои периоды уныния и внезапной меланхолии, мои мысли о том, что ничего у меня не выходит – мое то, мое се, – и, наверное, мою приветливую глупость. Пока все вокруг меня неотвратно менялось, она оставалась прежней, разве что становясь с годами более тонкой и хрупкой. Ей ведь уже сто? Раньше она играла на пианино в комнате отдыха – и довольно сложные вещицы, джазовые мелодии двадцатых и тридцатых. Не знаю, где она этому научилась. Помню, она сидит там – волосы распущены, длинные серебристые пряди струятся по спине, на ней кошмарная больничная роба – и выглядит при этом королевой и поразительно прекрасной, хотя ей было тогда уже семьдесят. Она и сейчас довольно красива, а уж представить, как она, наверное, выглядела в молодости! Незаурядно, как воплощение всего необычного и даже чужеродного в этом провинциальном мирке. Когда позже у нее развился легкий ревматизм – она этого слова не допускала, ссылаясь на то, что пальцы стали «негибкие», – играть она перестала. И

<sup>5</sup> Уильям Шекспир, сонет 116 (пер. С. Маршак).

с ревматизмом она могла бы играть неплохо, но «неплохо» ее не устраивало. Поэтому мы больше не слышали, как миссис Макналти играет джаз.

Для порядка стоит записать, что потом пианино, побежденное древоточцами, вывезли на свалку, и в кузов грузовика оно приземлилось с оглушительным немзыкальным звоном.

Теперь придется пойти и порасспрашивать ее о том, о сем. Из-за этого я необъяснимо нервничаю. С чего бы мне нервничать? Наверное, все потому, что она настолько старше меня и, когда она надолго умолкает, я чувствую себя рядом с ней чрезвычайно покойно – как в обществе пожилого коллеги, перед которым преклоняешься. Да, наверное, в этом-то и дело. Или – как я подозреваю – в том, что я нравлюсь ей так же, как и она мне. Хотя я и не знаю почему. Я испытываю к ней любопытство, но никогда толком не влезал в ее жизнь, что, наверное, характеризует профессионального психиатра с не самой лучшей стороны. Впрочем, вот так и есть – я ей нравлюсь. И эту ее приязнь – в смысле само ее состояние – я не хотел бы поколебать ни за что на свете. Поэтому нужно действовать осторожно.

### **Свидетельство Розанны, записанное ей самой**

Как бы мне хотелось сказать, что я любила отца так сильно, что не могла жить без него, но потом подобные уверения окажутся неправдой. Те, кого мы любим, неразделимые с нами люди, уходят от нас по воле Всевышнего или стараниями дьявола. Смерти эти – будто увесистый кусок свинца на душе, и там, где прежде душа была невесомой, в самой нашей сердцевине, сокрыто теперь тайное и гибельное бремя.

\* \* \*

Когда мне было лет десять, отец в приступе образовательного рвения привел меня наверх длинной и узкой кладбищенской башни. Башня эта была одной из прекрасных, стройных и высоких построек, возведенных монахами в страшные и губительные времена. Она стояла в заросшем крапивой уголке кладбища, и никто ее особо не замечал. Всякий, кто рос в Слайго, просто знал: она там есть. Но, вне всякого сомнения, то была драгоценность, выстроенная лишь с тонким налетом цемента меж камней – каждый камень впитал в себя изгиб башни, каждый камень был уложен на свое место древними каменщиками с идеальной точностью. Кладбище, конечно, было католическое. Но мой отец получил эту работу не из-за своей религии, а потому, что в городе все его очень любили и католики были не против, чтобы могилы им копал пресвитерианец, если это пристойный пресвитерианец. Потому что тогда отношения между церквями были гораздо спокойнее, чем нам представляется сейчас, и многие подчас забывают про те, уже давно канувшие в лету времена, когда из-за введенных карательных законов католики тоже подвергались гонениям – про это отец очень любил напоминать. Но в любом случае там, где есть дружба, религия не помеха. И только гораздо позже это его отличие вдруг сыграло свою роль. А до того я знала, что к нему с чрезвычайной приязнью относится приходской священник, бойкий энергичный человек по имени отец Гонт, который позже занял очень много места в моей собственной истории, если, конечно, так можно сказать про такого маленького человечка.

То было время, когда первая война только-только закончилась, и, быть может, в тогдашних окопах истории сознание людей то и дело устремлялось ко всякого рода странностям, педагогическим причудам – вроде той, которую в тот день затеял отец. Потому что иначе я не знаю, зачем бы еще взрослый мужчина повел своего ребенка на верхушку старой башни, прихватив с собой сумку, полную молотков и перьев.

Весь Слайго – с рекой, домами, церквями – распростерся у подножия башни, ну или так оно казалось из маленького окошка на верхушке. Пролетающая птица, наверное, могла

видеть, как оттуда пытаются одновременно высунуться два оживленных лица: я вся тянусь на цыпочках, моя макушка задевает подбородок отца.

– Розанна, милая, я уже брился утром, тебе не удастся побрить меня еще раз своей золотой головкой.

И правда, у меня были мягкие волосы – прямо как золото, золото тех древних монахов. Желтые всполохи цвета, как в старых книжках.

– Папочка, – сказала я, – ну пожалуйста-распожалуйста, брось скорее молотки и перья вниз, и посмотрим, что будет.

– Ух, – ответил он, – что-то я притомился, пока карабкался сюда, давай-ка взглянем разок на Слайго, прежде чем перейдем к нашему эксперименту.

Он специально подждал безветренной погоды. Хотел наглядно доказать мне старинную теорию: все вещи падают вниз с одинаковой скоростью.

– Теоретически, – сказал он, – все вещи падают вниз с одинаковой скоростью. И я тебе это докажу. И себе тоже.

Мы сидели у шипящих углей нашего камелька.

– Все, может быть, и падает, как ты говоришь, с одной скоростью, – вклинилась мать из своего угла. – Да вот только мало что подымается.

Не думаю, что это была шпилька в его адрес, так – обычное замечание. В любом случае отец взглянул на нее с тем превосходным спокойствием, которым она владела в совершенстве и которому он научился от нее.

Как странно – сидеть в сумеречной комнате и писать все это, царапать слова синей шариковой ручкой и в то же время где-то там, за глазами, в сумерках моей головы, видеть, как они говорят и живут, будто это они – настоящие, а я – всего лишь иллюзия. И в тысячный раз сердце мое вздрагивает при воспоминании о том, какая она красивая, какая ладная, милая и сияющая и какой у нее саутгемптонский выговор: как галька на пляже, которую с шорохом ворошат волны, мягкий звук, что звучит в моих снах. Правда и то, что когда я дерзила, когда ей казалось, что мой путь отклоняется от замысленного ею – даже в мелочах, то меня ждала порка. Но в те времена детям всегда за что-нибудь попадало.

И вот наши с отцом головы елозят туда-сюда, лица втиснуты в старинную раму монашеского смотрового окошка. И какие только давние лица не выглядывали отсюда – вот монахи потеют в своих рясах, пытаются разглядеть, нет ли на горизонте викингов, которые придут и убьют их всех и заберут их книги, их бочонки с вином, их деньги. Никакой каменщик не оставит для викингов слишком большого оконного проема, и это окошко по-прежнему отдавало застарелой тревогой и опасностью.

Наконец стало ясно, что, если мы оба останемся наверху, провести эксперимент не удастся. Кто-то из нас обязательно все пропустит. Поэтому отец велел мне спускаться вниз, по замшелым каменным ступеням, и я до сих пор помню, какой влажной была стена под моими пальцами и как рос во мне необъяснимый страх разлучиться с отцом. Мое маленькое сердечко колотилось так, будто в груди метался застрявший голубь.

Я вышла из башни и отошла от нее подальше, как он велел, боясь того, что меня насмерть зашибет упавшим молотком. Отсюда башня казалась громадной, вытянувшейся до самых облаков, которые в тот день были нечистого, серого цвета. До самых небес. Было тихо, ни ветерка. Заброшенные могилы в этой части кладбища, могилы мужчин и женщин из того века, когда люди могли позволить себе лишь грубый безымянный камень в головах, теперь, когда я оказалась тут в полном одиночестве, казались мне совсем другими, будто бы эти жалкие скелеты вот-вот восстанут из-под земли и набросятся на меня, снедаемые вечным голодом. Я стояла там – ребенок на краю обрыва, такое у меня было чувство, как в той старой пьесе про короля Лира, когда друг короля воображает, будто падает вниз с крутого утеса, а никакого утеса там на самом деле нет, но когда читаешь про это, тоже кажется,

что там утес и ты летишь вниз вместе с другом короля. Но я все высматривала отца – любя и веруя, любя и веруя. Нет ничего дурного в том, чтобы любить своего отца, в том, чтобы принимать его безоговорочно, и так было даже когда я уже начала взрослеть, а в эту пору дети особенно часто разочаровываются в родителях. Нет ничего дурного в том, что все мое сердце тогда рвалось к нему – к тому, что я могла разглядеть: к его руке, которая торчала из окна, и сумке, что болталась в ирландском воздухе. Теперь он что-то кричал мне, и я едва могла разобрать, что он говорит. Но на второй или третий раз я, кажется, расслышала:

– Ты отошла подальше, доченька?

– Отошла, папочка! – отозвалась я, почти крича, ведь моим словам надо было проделать такое огромное расстояние и пролезть в такое маленькое окошко, чтобы добраться до него.

– Тогда я открываю сумку! – крикнул он. – Смотри!

– Я смотрю, папочка!

Одной рукой он неловко раскрыл сумку и вытряс ее содержимое наружу. Я видела, как он клал все туда. Там была пригоршня перьев, которую он выдрал из прикроватного валика, невзирая на причитания жены, и два остроконечных молотка для починки оград и надгробий.

Я смотрела и смотрела. Кажется, я слышала странную музыку. Щебет галок и скрипучий клекот грачей, угнездившихся в огромных буках, складывались у меня в голове в какую-то мелодию. Шея у меня ныла, но я вся разрывалась от нетерпения скорее увидеть, чем закончится этот элегантный опыт, который, как сказал отец, может стать для меня чем-то вроде основы мировоззрения.

Хотя не было ни малейшего ветерка, перья мгновенно разметало будто взрывом и тотчас же унесло вдаль – серые пятнышки против серых облаков, практически неразличимые. Перья летели, летели вдаль. Отец все кричал и кричал мне с башни, в страшном возбуждении:

– Ну, что видишь, что видишь?

Что я тогда видела, что знала? Иногда мне кажется, что когда в ком-то вдруг прорывается нелепость, нелепость, порожденная, быть может, отчаянием, как это случилось много лет спустя с Энусом Макналти (про него вы еще не знаете), тогда-то тебя и пронзает любовью к этому человеку. Это любовь – которая ничего не знает, ничего не видит. И вот я все стою и стою там, все пытаюсь разглядеть что-то, заломив шею, все всматриваюсь и вытягиваюсь – пусть даже и только потому, что люблю его. А перья все кружатся и улетают, улетают. Отец зовет и зовет меня. Мое сердце рвется к нему. И молотки все падают.